

Когда зевес, с олимпа изгнанный,
разжалованный в львиный зев,
на тощем стебельке колыхается
и вспоминает нараспев
свои победы над титанами
(был кипяток – и нет его),
над нимфами над безымянными
(он был большое божество),
как похищал европу жаркую,
пел над эгейскою водой,
где нынче турция, слал молнии,
ругался с герой молодой -
ох, я и сам, лишаясь голоса,
в косяк трамбуя анашу,
уже не чехову, а хроносу
ночные жертвы приношу.
Кто кается, кто дурью мается,
а в греции сыра земля,

и неохотно раскрывается
цветок под тяжестью шмеля

Продай мне по дешевке пресс-папье,
старьевщик. Я пристроюсь на скамье -
на парковой, ребристой и зеленой -
а рядом будет в шахматы играть
пенсионер (судьбы не выбирать),
простоволосый юноша влюбленный
рассматривать в айфоне молодом
возлюбленной в акриле голубом
любительские фотки: плеск оркестра,
все на продажу, как она стара-
ется, возвышенна, добра -
позирует невесело, но честно.
Подглядывай, любитель бытия,
корреспондент вселенского жнивья,
так лучший город мира непохабен
хоть и причастен мировой тоске.
Здесь solus rex на клетчатой доске,
здесь непременно умный чичибабин
схватился бы за вечное перо,
чтобы воспеть дурацкое метро
(без барельефов, с грубою бетонной
колонной), чтобы взвиться нараспев.
Но я другой. Я от рожденья лев
охлажденный, может быть, влюбленный
любитель шахмат. Тронул – так ходи.
Лишь не гадай, что будет впереди.
Там ангелы, нас проглотив, не охнут.
А пресс-папье не разгоняет страх,
не осушает пены на устах,
но без него чернила не просохнут.

1980 (1)

на околице столицы
где кончается метро
где студенты бледнолицы
пьют подземное ситро,
нет, скорее даже пиво
на скамейке серой пьют
и рассматривают брезгливо
богоданный неуют -
машет хвостом тощий бобик
улыбается дитя
лилипуты бедный гробик
поднимают ввысь, кряхтя:
кто невесел, кто плачевен,
кто-то просто невелик
их еще вспоёт пелевин
наш непалец многолик
вобла есть, но нету нельмы
счастье есть, но нет письма
спят немывтые панельны
мног'этажные дома
где вы, тютчевские звезды,
дух смирился, век зачах
ах, в блевотине подъезды
мусор в баках, тьма - в очах
не тверди, что жизнь трясины
рудниковая вода
пиво пенится, и псина
беспородная всегда,
не предчувствуя удоя,
жестких подвигов в цеху,
видит облако младое,
слышит бога наверху

В байковом халате кушает обед
в номер шесть палате пожилой поэт.
Кто-то пашет, сеет, истребляет зло.
а старик лысеет – видно, повезло.
Так уж мир устроен, в смысле, селяви.
Был мужик героем веры и любви.
Перышком нацелясь, изощренный стих
сочинял про прелесть самочек иных.
А еще философ он изрядный был,
множество вопросов разрешать любил.
Например, о боге и о звездах, да
о земной дороге счастья и труда.
Презирал простóфиль, нес духовный крест.
А теперь картофель и сардельку ест.
Жаль, сарделька эта свинкою была.
К ужасу поэта, страшно умерла.
Горек, горек, горек жалкий наш удел.
Взял мясник топорик, сердцем охладел,
и, подобно инку в золотом краю,
обезглавил свинку бедную мою.
Мы совсем не хотим палачами быть.
Но и бардам прочим, чтобы жизнь любить,
дабы жить любовью, надо много ку.
То есть, для здоровья мясо и треску.

Когда бы знали чернокнижники,
что звезд летучих в мире нет
(они лишь бедные булыжники,
куски распавшихся планет),
и знай алхимики прохладные,
что ртуть – зеркальна и быстра –
сестра не золоту, а кадмию,
и цинку тусклому сестра –

безлика, но многоокая -
фонарь качнулся и погас.
Неправда, что печаль высокая
облагораживает нас,
обидно, что в могиле взорванной
один среди родных равнин
лежит и раб необразованный,
и просвещенный гражданин -
Дух, царствуя, о том ни слова не
скажет, отдавая в рост
свой свет. И ночь исполосована
следами падающих звёзд.

Где незадачливый трепещет
бард, где набоковский уют,
где ангцы, овощи и вещи
хвалу Всевышнему поют -
уверен, есть края такие
в четырехмерной глубине
вселенной, паруса тугие,
осадок дымчатый на дне
стаканчика с невинным vino,
как в Чехии, и вообще -
давно уже за середину
перевалила жизнь. Вотще
мы плачем над ее распадом.
Всё разрушается. Одна
любовь, как золото и ладан,
еще, прощальна и влажна,
мурлычет – с ней, такой же смертной,
как крючья сонных хромосом,
мы вечность предаем и ветру
дары пасхальные несем

..еще не закрыты границы,
явится охотничий рог,
еще я умею склониться
над картой железных дорог -
(как сжато пространство! тайги бы,
холодных степей из окна!) -
бесценной, потертой на сгибах, -
как юность сырая (она
же - волны скитаний и воли,
в ночном свитерке, налегке) -
за гривенник купленной, что ли,
в одном привокзальном ларьке.
Смешались языки, знай awesome
твержу, но беда - не верну
музыки той грузным колесам,
натруженному чугуну,
где шепот минувшего мёда,
кимвалов звучащих теплей,
склонился военной одой
над временной жизнью моей.